

УДК 81'1+7.01

<https://doi.org/10.36906/2500-1795/22-2/10>

А.В. Марков

СОЦИОЛОГИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ СЛОВА**У Г.Г. ШПЕТА И В.В. БИБИХИНА**

Аннотация. Теория языка Г.Г. Шпета, подвергающая феноменологической критике языкознание В. фон Гумбольдта, укорененное в семантическом производстве индоевропейских языков, проблематизирует границы языкового выражения. Для Шпета внутренняя форма слова не является только вопросом этимологического образа, способного породить другие, более действенные образы, реактуализируясь в поэтическом творчестве. Поэтическое Шпет понимает уже исходя из различения содержания сознания и предмета сознания в школе Франца Brentano, и поэтому толкует поэтическую речь как ресурс постоянной интерпретации данных языка. Внутренняя форма тогда оказывается тем самым содержанием сознания, которое существует до интерпретаций, – тогда как интерпретация производится самой энергией языка, самим его социальным существованием, и социальное бытие языка совпадает с созданием устойчивых образов, обладающих собственной формой. В таком случае, способы записи не могут ограничиваться только привычной графикой, но могут передавать устойчивый синтаксис воображения, отличающийся от школьного синтаксиса, восходящего к аристотелевскому пониманию предикации. Отказ Шпета от удвоения согласных в пределах морфемы и В.В. Биbihина от запятой в качестве разделительного, а не интонационного знака принадлежат общей линии отказа от разделения сходного, противоречащего новому пониманию социальности языка. Биbihин рассматривает Шпета как администратора, но нового типа, знающего внутреннюю форму как основание правильного научного производства и отдающего ритуальный долг внутренней форме, тогда как Потебня воспринимал ритуал серьезно. Но этот административный опыт и позволил Шпету сформулировать все те предпосылки социологического понимания внутренней формы, которые Биbihин толкует в свете биографии Шпета. Понимая Шпета как добродетельного администратора, Биbihин раскрывает учение Шпета о внутренней форме как учение о создании новых дисциплинарных границ, в противовес авангардному преодолению границ. Тщательное чтение труда Шпета показывает, что его особый апофатический подход к внутренней форме был источником порождения новых дисциплин и практик внутри дисциплин, что Биbihин понял как проект нового Ренессанса, возрождения продуктивной учености.

Ключевые слова: Шпет; философия языка; внутренняя форма слова; теория языка; социальная коммуникация; межкультурная коммуникация

Сведения об авторе: Александр Викторович Марков, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры кино и современного искусства, Российский государственный гуманитарный университет, ORCID: 0000-0001-6874-1073.

Контактная информация: 125993, Россия, ГСП-3, Москва, Миусская пл., д. 6, markovius@gmail.com

A.V. Markov

THE SOCIOLOGIZATION OF THE CONCEPT OF THE INNER FORM OF THE WORD BY GUSTAV SPETH AND VLADIMIR BIBIKHIN

Abstract. Speth's (Gustav Spet/Speth/Späth) theory of language, which subjects W. von Humboldt's linguistics, rooted in the semantic production of Indo-European languages, to phenomenological criticism, problematizes the limits of linguistic expression. For Speth, the inner form of the word is not just a matter of etymological image, capable of generating other, more efficacious images, actualized in poetic invention. Speth understands the poetic already on the basis of the distinction between the content of consciousness and the object of consciousness in the school of F. Brentano, and therefore interprets poetic speech as a resource of constant interpretation of language data. Inner form then turns out to be the very content of consciousness that exists before interpretations - whereas interpretation is produced by the very energy of language, by its social existence itself, and the social being of language coincides with the making of stable images with a form of their own. Ways of writing, then, may not be limited to the familiar script, but may convey a sustained syntax of the imagination that differs from the school syntax that goes back to the Aristotelian understanding of predication. Speth's rejection of the doubling of consonants within a morpheme and V. Bibikhin's rejection of the comma as a separating rather than intonational sign belongs to the general line of rejection of the separation of the similar, which contradicts the new understanding of the sociality of language. Bibikhin sees Speth as an administrator, but of a new type, knowing the internal form as the basis of correct scientific production and giving ritual duty to the internal form, whereas Potebnya took ritual seriously. But this administrative experience is what allowed Spet to formulate all those prerequisites for a sociological understanding of internal form, which Bibikhin interprets in light of Speth's biography. Understanding Speth as a virtuous administrator, Bibikhin reveals Speth's doctrine of internal form as a doctrine of the creation of new disciplinary boundaries, as opposed to the avant-garde overcoming of boundaries. A close reading of Speth's work shows that his particular apophatic approach to inner form was the source of the generation of new disciplines and practices within disciplines, which Bibikhin understood as the project of a new Renaissance, the rebirth of productive scholarship.

Keywords: Gustav Speth (Späth); philosophy of language; inner form of word; theory of language; social communication; intercultural communication

About the author: Alexander Viktorovich Markov, Doctor of Philology, Associate Professor, Professor of the Department of Cinema and Contemporary Art, Russian State University for the Humanities, ORCID 0000-0001-6874-1073.

Contact information: 125993, Russia, GSP-3, Moscow, Miuskaya pl. 6, markovius@gmail.com

Марков А.В. Социологизация понятия внутренней формы слова у Г.Г. Шпета и В.В. Бибикина // Нижневартровский филологический вестник. 2022. №2. С. 126-136. <https://doi.org/10.36906/2500-1795/22-2/10>

Markov, A.V. (2022). The Sociologization of the Concept of the Inner Form of the Word by Gustav Speth and Vladimir Bibikhin. *Nizhnevartovsk Philological Bulletin*, (2), 126-136. (in Russian). <https://doi.org/10.36906/2500-1795/22-2/10>

Идея внутренней формы слова, выдвинутая В. фон Гумбольдтом и получившая развитие в трудах А.А. Потебни, обязана представлению о поэзии как непосредственном раскрытии возможностей языка, от простого обозначения реальности до ее преобразования. Конечно, такая идея могла родиться только в Германии, где Просвещение отличалось как борьбой лютеранского духовенства за относительную автономию и лидерство на интеллектуальном рынке (И.-Г. Гердер, Ф. Шлейермахер), так и обозначением новой функции театра и других общегерманских культурных институтов – определять движение аффектов, позволяя звучащему слову формировать общественные аффекты. Тогда внутренняя форма слова, его смысловое этимологическое ядро, оказывается инструментом направленного запуска аффектов, тогда как внешняя форма просто позволяет убедиться в этом движении тем, кто хорошо знает язык, как раз интеллектуалам, которые выигрывали борьбу за автономию. Начитанный интеллектуал, способный в словах увидеть границы действия институтов, например, границы проповеди или театрального перформанса, постоянно удерживает во внимании и внешнюю, и внутреннюю форму, видя в первой основание автономии, а во второй – доказательство уже осуществившихся автономий. Например, если в слове «окно» видим «око» как внутреннюю форму, то признаем автономию зрения городского человека, способного контролировать ближайшую социальную действительность с помощью инструментов, таких как система окон, тогда как считывание внешней формы просто позволяет сказать, что окна стали привычнее многих других вещей, и автономия надзирающего взгляда уже осуществилась.

Ближайшим продолжением идеи внутренней формы стал романтический антибюрократический монархизм: гумбольдтовская концепция языка как «эргона» и «энергии» подразумевает, что и в общественной жизни должен быть ресурс возобновления всех деятельных связей между людьми, в качестве которого проще всего выступить монарху – ведь другие людские ресурсы могут прерывать свою работу, когда каждый занят своим профессиональным делом, внешней формой своего ремесла; тогда как монарх реализует

внутреннюю форму самостоятельности, самодеятельности и концентрированности власти – и потому лучше всех поддерживает энергичность общества. Такими романтическими монархистами были многие, от Новалиса до Гоголя.

В. В. Биbihин, анализируя русскую рецепцию идеи Гумбольдта об энергии языка и внутренней форме слова, очень чтит и Потебню, и Шпета, но учение Потебни считает пластическим, выразительным, соединяющим несоединимое, например, что мысль оказывается и основой, и результатом слова. Поэтому учение Потебни для Биbihина – это зеркало, в котором философия может полюбоваться собой и наконец начаться в современной уже Биbihину России как общественная сила. Тогда как о Шпете Биbihин говорит со всем ритуальным почтением, но немного недоверчиво, можно сказать, как о слишком деловом человеке, организаторе: «Чтобы проверить, так ли мы поняли Шпета, мы должны вчитаться в него. И, увы, блестящие в 20-е годы интеллектуальные инструменты уже нам не блещут. А Потебня древний сохраняет очарование старинной вещи» (Биbihин, 2008: 299). Этот не-блеск означает, что Шпет не столько открывает внутреннюю форму как старинную полновесность монархических регалий, но блестяще устанавливает границы институтов как границы некоторых помещений, – как директор, отдавая инструкции, в которые следует особо вчитаться.

Вопрос о Шпете как толкователе Биbihина уже поставлен в науке. Переводчик Шпета на французский М. Денн видит в обоих мыслителях рыцарей беспредпосылочности, только с тем различием, что Шпет опирается на Гуссерля, а Биbihин – еще и на Хайдеггера (Денн, 2015: 370), а также находит у них общую онтологизацию гуманитарных наук как канала доступа к бытию (там же: 374-375), хотя можно назвать это социологизацией онтологии, одним из измерений каковой социологизации и оказывается вовлечение в дело всего аппарата гуманитарных наук. Н.М. Азарова также считает, что обоих мыслителей объединяет онтология, но уже не в ключе гуманитарных наук, а в ключе речевой перформативности, особой заинтересованности в предмете, которая может выражаться как гимн или иная форма полной преданности речи предметному изысканию (Азарова, 2010: 33). Опять бы рассуждали скорее о некоторой социальной норме исследования и изыскания, которая и определяет способность речи как действовать в режиме (говоря словами Гумбольдта) *энергии*, так и в режиме *эргон'а*. В.П. Зинченко (Зинченко, 2010: 7-8) считает, что двух философов объединяет тематизация интуиции, которая предшествует индивидуации, родовидовому делению дисциплин, и понятие о внутренней форме принадлежит этой тематизации. Но опять же, лучше бы сказали, что оба философа считают, что родовидовое деление не самоочевидно и не следует просто из принятия логики Аристотеля, но требует определенной институциональной и социальной поддержки, оправдывающей и действие интуиции в нашем познании. Все эти три примера, а их можно множить, показывают ускользающий социологический контекст как раз там, где все эти очень опытные исследователи схватывают важнейшее в любимых мыслителях.

Поэтому в этой статье как раз смотрим со стороны социологии и ставим проблему так: как социологические принципы Шпета, как имплицитные, так и эксплицитированные в поведении ученого-организатора, раскрытые Бибихиным часто косвенно, просто как часть философского профиля Шпета, определили специфику его учения о внутренней форме слова. Доказываем, что это учение вполне может раскрываться как продуктивное для организации новых гуманитарных дисциплин.

Согласно Бибихину, Шпет – не просто философ, а государственный муж, точнее, он стал бы образцом для философов, сделавшихся государственными мужами, когда бы философия не была объявлена опасной и не вытеснена воспроизведением идеологии. Биографию Шпета он излагает как историю не просто успешного интеллектуала и администратора, но как раз человека, постоянно преодолевавшего власть бюрократии, создающего институты, которые он же возглавляет, иногда возглавляющего быстрее, иногда не успевающего за тем же, что сам создал: «Основал и стал директором Института научной психологии, или Института этнической психологии, 1921» (Бибихин, 2008: 280). Любой другой биограф сказал бы, что Шпет создал Институт научной философии, в состав которого был включен уже прежде существовавший Психологический институт – всё это были подразделения, точнее даже комнаты, внутри Московского университета, и кто вдруг оказывался главным над твоей и соседней комнатой, это и становилось историей номенклатуры. Но Бибихин соединяет всю номенклатуру воедино, думая о Шпете, который как бы смотрит через стены, на какой-то замысел, продумывая способность как раз единую внешнюю форму Института поддержать внутренней формой своих установлений (*institutio*, установление). Основать – это создать институцию, проникнуть во внутреннюю форму латинского слова; стать директором – это использовать внешнюю форму, что, когда что-то устойчиво, этим можно управлять, на это можно опираться. Так повторение социологических предпосылок понятия о внутренней форме определило мнимую ошибку Бибихина, а на самом деле – глубинное усвоение этого социологического субстрата в размышлении о том, как Шпет со всей способностью распорядился теми самыми границами действия институтов.

Бибихин наделил в своем изложении Шпета явными чертами Николая Николаевича Веденяпина, героя пастернаковского «Доктора Живаго», который сетовал: «Каждый день лекции и доклады, не дадут опомниться. То на Высших женских, то в Религиозно-философском, то на Красный Крест, то в Фонд стачечного комитета» (Пастернак 1989: 42). Веденяпин не мог работать с коллегами, хотя и придерживался той же терминологии, что и они, потому что был чужд догмам тех, кто «довольствовались словами и видимостями», а следовал некоторой внутренней очевидности: «Он жаждал мысли, окрыленно вещественной, которая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь в своем движении и что-то меняла на свете к лучшему и которая даже ребенку и невежде была бы заметна, как вспышка молнии или след прокатившегося грома» (там же: 11). Это как раз внутренняя форма слова *мысль*, мысль не как идея или идеологема, а как вещание: этимологически слово родственно греческому «миф» и английскому *must*, то есть нечто неотвязно рассказываемое внутри тебя.

Но и Шпет работал во множестве учреждений, и по Бибихину, как и Веденяпин, просто был ведом стремлением, которое подвергается инфляции (то есть этимологически как раз выдувание, легкость, когда невольно несешься, не дают опомниться): «Инфляция комиссий и институтов была не от хорошей жизни, а от все большей невозможности работать в Университете, откуда Шпета, в частности, тоже вытеснили» (Бибихин, 2008: 281). *Вытеснение*, теснота – это внутренняя форма слова «тоска», слова, очень важного для Пастернака («Отца и мастера тоски», в смысле творчества, творческого томления), – и таким образом Шпет как раз обретает внутреннюю форму, но всякий раз уносится от нее к кабинетам внешней формы, потому что должен распорядиться и философией, чтобы она, наконец, стала научной и правильной.

И видеть внутреннюю форму для Бибихина, по Шпету, которого он переводит на язык умного делания, это как раз не заглядывать в чужие кабинеты учреждения, но распоряжаться их интеллектуальным имуществом свободно, обретая ее у себя за столом авангардного руководителя, без всякого воровства или лишнего расчета: «Или, может быть, именно только тогда мы сумеем начать видеть внутри умным зрением, когда отучимся воровски подглядывать под покрывалом? Или иначе: никогда не проснется в нас «умное видение», если мы отучимся первому зрению, ослепнем для внешнего?» (Бибихин, 2008: 312). Поэтому так Бибихин и подчеркивает, что «Шпет говорит об умном чувстве, об интеллектуальном прикасании, об умном видении» (Там же: 305), что Шпет боролся против визуальности футуризма, за что Бибихин его очень любит, потому что визуальность, табличка, ярлык сразу требуют зайти в свой или чужой кабинет и связать себя бюрократическими обязательствами. В результате Шпет пока просто рассуждал о внутренней форме, делал это не так величественно и монархично, как Потебня, но как только окончательно преодолел бюрократию, заставив себя интеллектуально касаться, а не в силу инструкций, которые всё со всем соприкасают в окружающем мире, и стал блистательным философом.

Далее рассмотрим, как осуществлялось это преодоление бюрократии у самого Шпета, истолковав догадку Бибихина. Шпет старается выйти за пределы индоевропейского языкознания, которое было основополагающим для Гумбольдта. Излагая позицию Гумбольдта, Шпет обращает внимание, что все понятия о национальном в языке ограничены различиями внутри индоевропейских языков с их очевидным грамматическим строем и способами выражения или конструирования субъективного и объективного. «Великая межа прокладывается здесь в зависимости от того, вкладывает народ в свой язык больше объективной реальности или больше субъективной интимности (*Innerlichkeit*) (как напр., в языках грече-ском и немецком)» (Шпет, 1927: 23). Гумбольдт в изложении Шпета здесь принимает, что эксплицитное различие субъекта и объекта есть во всех интересующих языках, причем настолько эксплицитное, что его можно опредметить, как склад, и инвестировать, как при тогдашнем рыночном капитализме можно обеспечить спрос либо на объективно нужные, либо на субъективно привлекательные товары.

Объективность или субъективность не просто поддерживаются грамматикой, – но самой по себе грамматики, изложенной в учебниках как инстанции контроля, достаточно, чтобы обеспечить достаточность такой объективности или интимности. Этому служат грамматические особенности – система падежей и частиц позволяет как бы с разных сторон отнестись к предмету, принять его как уже часть внутреннего акта отношения к нему. Интимность здесь – это не пронизательность, а именно быстрое освоение разных модальностей отношения к предмету, как будто символически усиливающих повседневную заинтересованность в нем, и тем самым превращающих интерес в действительное проникновение в предмет, наподобие как раз влияния придворных партий при дворе, влияющих на решение монарха или же при ином повороте проникновенно раскрывающих это решение для идеального зрителя. В этом смысле поэзия, раскрывающая внутреннюю форму намеренно, имитирует своим сюжетом такую смену падежей как аспектов, и Шпет, сидя за столом авангардного руководителя, как раз любую намеренность своих действий может сделать поэтичной.

Так, Потебня приводил в качестве примера внутренней формы различие месяца и луны, обозначающих один предмет, но имеющих разную внутреннюю форму (Бибихин, 2008: 128), «мера» и «светоч» соответственно – и когда молодой Брюсов написал строки «Всходит месяц обнаженный / При лазоревой луне», описывая рабочую комнату, то он вполне реализовал внутреннюю форму: месяц как отражение на кафеле камина, обнаженный, то есть лишенный свойства освещать комнату, напоминает о тайминге, времени работы, тогда как луна сквозь стекло, лазоревая, и позволяет работать без лампы. И замечательно, что Бибихин понял это как способность луны отвлекать делового человека! (там же) – то есть внутренняя форма слова связана с тем, выбирается ли календарь старой бюрократии или же факел новой организации труда! Если Брюсов был внутри кабинета за полночь, то Шпет как раз не отвлекается на кабинет.

Здесь внутренняя форма не просто позволяет построить завершённый сюжет, она еще раз разыгрывается: месяц – не луна, потому что он не светит, не освещает комнату, а луна – не месяц, потому что сама по себе не отмеривает время для творчества, но только восходит, оставаясь природным, а не творческим явлением. Но внутренняя форма слова и показывает, как возможно поэтическое высказывание, исключительно как раскрытие сюжета, в котором одна внутренняя форма не будет вступать в конфликт с другой, – скажем, уже как республиканскую партийность. Именно это самораскрытие сюжета Шпет и будет трактовать не в бытовом смысле, а в феноменологическом, как *жизнь содержания сознания*, не зависящую от возможной гибели предметов сознания как бюрократически учтенных. Поэтому там, где все предметы сознания могут исчезнуть, а образы останутся – там и есть поэзия.

В следующей же фразе своего труда Шпет излагает Гумбольдта: «Национальное различие сказывается, как в образовании отдельных понятий, так и в богатстве языка понятиями известного рода, – таково, напр., богатство санскрита религиозно-философскими понятиями» (Шпет, 1927: 23). Понятия в данной схеме принадлежат к различным родам,

определяемым практиками, такими как религиозная медитация. Но понять специфику языка можем, только обратившись к этим понятиям «известного рода» именно не как к классу, связанному со спецификой быта или хозяйства данного народа, мироустройства в данном народе, но как классу известному, классу, который ощущаем как уже извещенный и сообщенный нам, ощущаем как уже выстроенное непротиворечивое сообщение. Тем самым, опять же воображаем некоторое количество объектов, – но уже не в том смысле, что проникаем в них исходя из привычек, внушенных индоевропейскими языками, как проникают в чужие кабинеты, но что предсказываем их из-за того самого авангардного стола: потому что, приняв богатство смыслов, приняли, что воображаемое действие сейчас разыгрывается прямо перед нами.

Но в таком случае зависим от воображения *двойко*: воображение требует от нас проникновенности, но внушенной грамматическими привычками известных нам языков, и оно же требует от нас следить за предикацией – как понятия прямо сейчас действуют и приносят богатство впечатлений. Конечно, чтобы разорвать эту двойную зависимость, которая уводит нас к инфляции воображаемого, нужно начать понимать представления не как индивидуальные, а как социальные, – но для этого ввести новые термины, чтобы инерция внутренней формы старых терминов не сбивала нас с толку. Шпет и вводит два новых термина, *конципирование* и *компрегенсия*, чтобы понять, как происходит ответственная предикация там, где созерцаем вещь, воображая ее содержание. Шпет исходит из того, что к его времени в феноменологии различие между *предметом* понятия и *содержанием* понятия уже утвердилось (будь то в версии Франца Brentano, Казимежа Твардовского или какой-либо еще), и поэтому нужно просто ввести это различие не в мире рассуждения, а в мире языка с его актами предикации. «Не покидая почвы непосредственного созерцания вещи, мы обыкновенно говорим об особых актах постижения, уже не чувственного, а мыслимого содержания ее, как об актах конципирования (предмета) и компрегензии (объектива, предметного обстоятельства)» (Шпет, 1927: 96).

Шпет делает в этом месте сноску, что введенные им термины условны, не принадлежат никакой интеллектуальной традиции, и просто нужны для дальнейших рассуждений. Получается, что рассуждая о вещи, можем создать ее концепт, некоторую модель ее предметности, и тем самым вообразить все модальности отношения к предмету, – так что одна из них состоится в акте предикации, и философия тогда будет усвоена интимно. Но одновременно можем постичь, компрегензировать вещь, чтобы из всех воображаемых действий вещи выбрать те, которые будут создавать последовательные понятия, среди прочего освещающие дальнейшие грамматические употребления; показывающие, как можно правильно говорить о действиях. Шпет дает полноценный ответ Гумбольдту, и предварительность его терминов только помогает отвечать энергичной гениальности Гумбольдта.

Но в этом ответе с помощью новых терминов поневоле смещается разговор от постижения к узнаванию, к опознанию каких-то знаков. Поэтому в другом месте Шпет говорит

со всей открытостью: «Планомерно отбираемое для сообщения предметное содержание есть смысл сообщения, и он-то и постигается в понимании; конципирование и компрегензия, как творческие акты, суть акты *отбора*, в своем течении составляющие бесконечный процесс» (Шпет 1927: 93) (орфография Шпета сохранена). Таким образом, то, что в социальной практике выглядит как заинтересованный отбор, отвечающий движению социального интереса, то на уровне пользования языка выглядит как творческий акт, как определенное движение к вещам, которое постоянно полагает их, но открывает ситуацию вещей заново. Только *социальная практика*, которая упирается в данную ситуацию, а не в какую-либо другую, останавливает энергию (в гумбольдтовском смысле) языка, оставляя нас наедине с эргон социальной ситуации или процедуры обретения социального.

Тем более, Шпет прямо пишет о таком ритуале обретения далее, когда говорит о дилемме того, что концепты и отражают действительные вещи, и создаются нашим сознанием: «Если мы примем первый член дилеммы, утверждаем права вещей, в их концептивной *отображенности*, называться всячески, в том числе и “вещами”, а если примем второй член, то те же права принадлежат конципируемой, что значит здесь – нами конституируемой, *феноменальности*» (Шпет, 1927: 133–134) (орфография Шпета сохранена). Тем самым, отражение вещей оказывается поводом для нашего сознания подыскать различные способы обозначать наши вещи: уже не просто предцировать вещи, но утверждать, что предикация уже произошла, так перенеся гумбольдтовское *эргон* в область воображения; тогда как создание концептов оказывается актом учреждения, конституирования, общим знаменателем которого окажется гумбольдтовская *энергия*, но полностью принадлежащая нашему сознанию, почему только и можем говорить о феноменальности вещей, а не об их текущей функции для нашего высказывания. Значит, на эти вещи и можно обратить новоучрежденные науки с их энергией, совершив дело руководства.

Шпет напрямую утверждает, что экспозиция и интерпретация – суть только диалектические соответствия такой ситуации отношения к вещам: «Отношение между ними такое же, как между конципированием и пониманием, – *mutatis mutandis*, конечно, в том смысле, что экспозиция и интерпретация суть методы образования, диалектические, а не статические формулы, которые могут регистрировать и классифицировать только “результаты”». (Шпет, 1927: 112-113) То есть возможно постижение не только *результатов* в грамматических категориях, категориях нормирующей организации, но и *процессов* – нетрудно заметить, что по сути Шпет берет основную феноменологическую пару *ноэсис* – *ноэма*, и превращает ее в пару, в которой конципирование создает эргон (как соответствие ноэмы), поэтому и требуется определенная компрегензия для энергии как постоянной интерпретации (ноэсиса). Что будет в воображении экспозицией, началом организационного дела для новых дисциплин, и не требующим вставать из-за начальственного стола, то в социальной практике окажется интерпретацией, корректным развитием новоучрежденных дисциплин.

Бибихин удачно назвал это *апофатикой* Шпета, высвечиванием смысла, за которым следует социальное действие, причем это действие отказывает в других, как бюрократ отказывает в выполнении просьбы. «Явления кажут сами себя, слово помогает увидеть явления; но не все и не всегда так, иногда мы наталкиваемся на *отказ*, и не в том смысле, что чего-то не доглядели, а так, что *знаем*, что нам отказано (...) Шпет – человек, который чиновнику не поверил, отказ – недоразумение, *разберитесь*, зовет Шпет, все прояснится, там, где вы по лени и нелюбопытству соглашались: “ничто”, апофатика, непостижимость, там вы увидите новые и новые богатства. Тогда начнется небывалый новый Ренессанс, начнется подлинная Техника в высоком смысле» (Бибихин, 2008: 373). Бюрократия уже окончательно сводится к *эргон* явлений, к их визуальности как тоже форме эргон’а, тогда как авангардная техника нового управления открывает богатство даже в закрытых для нас комнатах, куда можно не входить, раз внутренняя форма нам подскажет, где наше управление пойдет как надо, превратив пастернаковскую *тоску* в творчество.

Поэтому не случайно Шпет относит конципирование к языкам с любым строем, где и возможен эргон, как возможна и бюрократизация – тогда как понимание и разумение, компрегенсия за столом в кабинете начальствующего авангардиста, явно требует какого-то формообразования в отдельном языке. «Определение, деление, включение – не движения, а сами – результаты, не формообразования, а формулы. Они постигаются нами через то же конципирование, а не через понимание и уразумение» (Шпет, 1927: 108). И существенная сноска на с. 100 «Только я думаю, что если первое есть логический акт, связанный с чистым конципированием, то второе, – именно внутренняя форма слова, – есть также *логический* акт, связанный с словесным и понимающим (уразумевающим)». Внутренняя форма слова, как критерий или категория постоянства этой энергии, оказывается тогда связана с разумением-компрегенсией, с формообразованием в данном языке, и всецело принадлежит этому формообразованию, – тогда как логический акт, в том числе и создавший привычные школьные грамматики, а сейчас создающий логику новых наук, освобождается от этих грамматик и оказывается обязан *чистому конципированию*.

Ясно, что «определение, деление, включение» – это не грамматические термины (здесь возвращаемся во многом к античному пониманию грамматики как искусства оценки, например, у Дионисия Фракийца), но просто термины, означающие, что действие воображения совпадет в конце концов с действием разборчивости в вещах, когда понятно, что делать с каждой вещью; и это понятие (чистое конципирование) ставится выше любого прежнего бюрократического и вообще организованного распоряжения вещами. Так что преодолеть прежнюю социальную инертность бюрократии уже оказывается возможно в любом языке, а не только в языках, наделенных особым внутренним чувством, как думал Гумбольдт.

ЛИТЕРАТУРА

Азарова Н.М. Типологический очерк языка русских философских текстов XX в. М.: Логос, Гнозис, 2010. 250 с.

Бибихин В.В. Внутренняя форма слова. СПб.: Наука, 2008. 419 с.

Денн М. О В.В. Бибихине и о рецепции Хайдеггера в России // Фонарь Диогена: человек в многообразии практик. 2015. Т. 1. №1. С. 367-381.

Зинченко В.П. Доопытная готовность овладения словом и приобщения к культуре // Культурно-историческая психология. 2010. Т. 6. № 2. С. 2-13.

Пастернак Б.Л. Доктор Живаго // Собр. соч. Т. 3. М.: Художественная литература, 1989.

Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова: Этюды и вариации на темы Гумбольта. М.: Государственная академия художественных наук, 1927.

REFERENCES

Azarova, N.M. (2010). Tipologicheskii ocherk yazyka russkikh filosofskikh tekstov KhKh v. Moscow. (in Russian).

Bibikhin V.V. Vnutrennyaya forma slova. St. Petersburg. (in Russian).

Denn, M. (2015). O V.V. Bibikhine i o retseptsii Khaideggera v Rossii. *Fonar' Diogena: chelovek v mnogoobrazii praktik*, 1(1), 367-381. (in Russian).

Zinchenko, V.P. (2010). Doopytnaya gotovnost' ovladeniya slovom i priobshcheniya k kul'ture. *Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya*, 6 (2), 2-13. (in Russian).

Pasternak, B.L. (1989). *Doktor Zhivago*. Sobr. soch. Moscow. (in Russian).

Shpet, G.G. (1927). *Vnutrennyaya forma slova: Etyudy i variatsii na temy Gumbol'ta*. Moscow. (in Russian).

Дата поступления: 06.10.2022

Дата принятия: 14.10.2022

© Марков А.В., 2022